

### Трансформации общества и кризис методологии исторической науки

В отечественной исторической науке в настоящее время одной из главных проблем является методологическая – и даже не та, какая именно методология может считаться наиболее обоснованной и работоспособной, а следует ли вообще следовать какой-либо методологии в качестве теоретического отправного пункта и сопровождения исторического исследования. Вопрос о том, нужна ли историку методология, возник в «перестроечные» времена, когда восстание (нередко на коленях) против марксистско-ленинской идеологии, диалектического и исторического материализма уводило так далеко, что приводило к отрицанию любой идеологии вообще, а следовательно, и методологии, поскольку в стране долгие годы культивировалась одна, «истинная», идеология, одновременно являвшаяся и методологией – и философии, и всех наук вообще. Когда же оказалось, что общество, которое создалось, как утверждалось официально, в соответствии с этой идеологией/методологией, неэффективно, тогда легче всего было обвинить именно идеологию, и обществоведы обрушились с критикой на ту методологию, которую ранее считали единственно верной и научной.

В конце 1980-х – первой половине 1990-х годов в бывшем Советском Союзе, а затем в России сообщества обществоведов активно старались выйти из того затруднительного положения, в котором они оказались. Многие научные учреждения, редакции научных журналов проводили конференции, «круглые столы» и другие мероприятия, на которых пытались определить, в чем состояли главные проблемы исторической науки в настоящее время, причем по давнишней традиции прислушиваться к мнению западных коллег убеждались, что их усилия были высоко оценены некоторыми из них. Так, американец Д. Лэмиш писал в 1991 году, что он «душевно тронут», видя, «каким мучительным, честным и поражающим воображение путем начинают идти многие советские историки, чтобы пробиться из тьмы прошлого к животрепещущим, полным новизны критическим идеям» [1].

Прежде всего, оказалось необходимым решить, что или кто испытывает кризис – сама историческая наука или только историки? Поначалу было большое искушение укрыться за безликим обобщением, так и формулировалось – «кризис советской исторической науки». Но затем стало очевидным, что в условиях небывалой гласности такой подход не решал вопроса исчерпывающим образом. Основываться на принципиальном различии отечественной исторической науки и мировой историографии больше было нельзя. Теперь можно было говорить или о кризисе парадигмального свойства (Т. Кун о революциях в науке), или о ненормальном развитии какой-либо составной, но автономной части исторической науки, в частности, советской, которая только становилась российской.

В известном смысле положение в отечественной исторической науке напоминало, а в чем-то и сейчас напоминает, состояние мировой историографии в период между двумя мировыми войнами, время, когда наметился европейский духовный кризис, обозначенный О. Шпенглером как «закат Европы», ее культуры. Относительно исторической науки, не признававшейся тем же Шпенглером вообще, указанный период характеризовался Э. Трельчем следующим образом (статья «Историзм и его проблемы», 1922): «Если мы сегодня постоянно слышим о кризисе исторической науки, то речь идет не столько об историческом исследовании ученых-специалистов, сколько о кризисе исторического мышления людей вообще». Кризис, по его мнению, выражался «в общих философских основах и элементах исторического мышления, в понимании исторических ценностей, исходя из которых нам надлежит мыслить и конструировать связь исторических событий» [2].

С другой стороны, авторитетной была и точка зрения философа-экзистенциалиста К. Ясперса, который утверждал («Духовная ситуация времени», 1931): «Гуманитарные науки лишены этоса гуманитарного образования... Борьба, которая велась филологическим и критическим исследованием против философии истории как некоей целостности, завершилась неспособностью представить историю как целостность человеческих возможностей... Кажется, что на прошлое опустилась пустота общего безразличия... С распадом целого перед неизмеримостью известного встал вопрос, стоит ли оно знания».

Отсюда следовало, что не имманентное развитие науки, не ее способности познавать мир находились в кризисе, а «человек, которого затрагивает научная ситуация. Не наука сама по себе, а он сам в ней находится в состоянии кризиса» [3]. Кризис этот произошел из-за направления

пути, на который встала историческая наука и на котором Э. Трёльч как раз видел выход из кризиса – массовое общество, массовое сознание: «Факт превращения свободного исследования отдельных людей в научное предприятие привел к тому, что каждый считает себя способным в нем участвовать, если только он обладает рассудком и прилежанием. Возникает слой плебеев от науки: они создают в своих работах пустые аналогии, выдавая себя за исследователей, приводят любые установления, подсчеты, описания и объявляют их эмпирической наукой. Бесконечность принятых точек зрения, в результате чего все чаще люди друг друга не понимают, – лишь следствие того, что каждый безответственно смеет высказывать свое мнение, которое он вымучил, чтобы также иметь значение. Все стремятся «поставить на обсуждение» все, что приходит в голову... Результатом всего этого является сознание бессмысленности» [4]. Если сколько-нибудь внимательно всмотреться в состояние советской исторической науки доперестроечного времени, то с известными поправками нетрудно будет обнаружить сходные черты.

Настоящая наука немыслима как планомерная организация по выпуску научной продукции: «Без риска в свободе не может быть заложена основа возможности самостоятельного мышления. В результате остается виртуозная техническая специализация и, пожалуй, большие знания; решающим становится тип ученого, а не исследователя. То, что начинают считать это одним и тем же, является симптомом упадка... Подлинная наука является аристократическим занятием тех, кто сам посвящает себя этому... Кризис науки – это кризис людей, который охватил их, когда они утратили подлинность безусловного желания знать» [5].

Для более глубокой характеристики современной отечественной историографии нелишне обратиться еще к одному положению К. Ясперса: «История человечества отличается особым характером бытия. В науке ей соответствует особый вид познания... Если мы постигаем в истории общие законы (каузальные связи, структурные законы, диалектическую необходимость), то собственно история остается вне нашего познания. Ибо история в своем индивидуальном облике всегда неповторима» [6].

Таким образом, крупные изменения в обществе, связанные, в основном, с революционными потрясениями (в том числе и с научными революциями), оказывали серьезное влияние на методологию истории. Это относилось ко всем странам, где происходили такие изменения или ощущалось их воздействие. Наша страна, в дополнение к тому, что проходили другие страны, пережила невиданные испытания, социальные потрясения, оставившие неизгладимый след на всех сторонах жизни общества. В частности, на обществоведческие науки в конце XIX – начале XX веков сильно повлияла социология, в определенный период они стали отличаться цеховым характером и чрезмерной политизацией. В «умеренных» дозах указанные качества присутствуют в обществоведческих науках многих стран и не приводят к перекосам в результатах их исследований. В другом положении оказалось отечественное обществознание, социологизация которого была возведена в ранг государственной политики в области образования и науки, поскольку из марксизма в качестве методологической основы была взята преимущественно его диалектическая и социально-экономическая составляющая. Цеховой характер советского обществоведения в целом не отличался от той практики, которая наблюдалась в западных университетах, например, американских, о которых видный историк Ч. Бирд писал: «В университете слишком много очаровательных друзей, которых нельзя обижать; слишком много светских обязанностей, которые призывают к благонамеренному поведению; слишком много лекций, которые надо читать; слишком много поводов для того, чтобы делать упор на блага жизни, нежели на ее мыслительный процесс; слишком много бывших выпускников, стремящихся в 1928 году применить то, что они узнали в 1888-м; слишком много суетни и недостаточно тишины; слишком много спокойствия и мало страсти; кроме того, слишком много священных традиций, которые необходимо соблюдать; слишком много теорий, но мало теории; слишком много книг, но недостаточно полемики опыта; слишком много студентов и мало исследователей» [7].

Кроме этих околоакадемических особенностей, присущих, очевидно, академическим учреждениям всех времен и народов, отечественное обществоведение испытывало жесткое давление тоталитарного режима, делавшее его существование и результаты научной работы в лучшем случае односторонними и ограниченными, заключенными в определенные идеологические рамки. Ученые-обществоведы прямо объявлялись «бойцами партии», призванными защищать единственно верное учение, политику и практику единственной правящей партии, а еще скорее, – вести наступление на «буржуазную» науку, идеологию и политику.

Десятилетия целенаправленного партийно-государственного воздействия на обществоведение, включая порой физическую расправу над учеными, привели к тому, что советская историческая наука сформировалась как специфическая составная часть мировой историографии. Сегодня нередко можно услышать, что советская историческая наука существовала в стороне от столбовой дороги мировой исторической науки, что она была прислужницей властей и вообще не была никакой наукой. Но такой вывод был бы не совсем правилен. Появившаяся на западе в ходе «холодной войны» гибридная научная дисциплина – советология, не имея доступа к советским архивам (за исключением редких случаев вроде появления за рубежом архивов Б. Николаевского или Л. Троцкого, захвата Смоленского областного архива в годы Великой Отечественной войны и др.), свободно черпала информацию из советских историографических источников, насыщая их своими идеями и интерпретациями. С другой стороны, советские историки, специализирующиеся на «критике буржуазных фальсификаторов», не менее свободно использовали материалы советологов и других западных историков. На Всесоюзном симпозиуме специалистов по истории Западной Европы и Америки в Институте всеобщей истории АН СССР в июне 1988 года И.И. Шарифжанов говорил:

«Всячески критикуя немарксистскую историографию за рубежом, мы в то же время не стеснялись использовать разработанные ею новые понятия, теоретические принципы и подходы. Если употребить выражение, высказанное недавно одним советским философом, наше научное движение шло по «принципу репейника»: мы цеплялись за каждого нового зарубежного автора, кололи и жалили его всячески, но и за счет этого двигались вперед, овладевая новыми понятиями и новой проблематикой» [8].

Здесь уместно заметить, что историк Шарифжанов ссылается на философа, что вовсе не является случайным. Философы, а еще ранее публицисты, журналисты в ходе развертывания гласности более решительно, нежели историки в начале и ходе «перестройки», заявили о необходимости расширения методологического поля советского обществоведения. Последние, считавшие себя в привилегированном положении (особенно это касалось историков КПСС), вначале были готовы на минимальную уступку, которая выручала раньше, – начать (а может и закончить) с «периодизации советского общества» [9], – новая периодизация означала бы новую методологию.

Как это нередко бывало в отечественной науке, в затруднительных ситуациях к зарубежной науке обращались еще чаще, чем обычно. Не стал исключением и рассматриваемый период. Беспрецедентная либерализация политической системы сделала возможным выход в СССР переводов авторов, появления которых в других условиях нельзя было ожидать [10]. В советских научных журналах появляются статьи западных авторов, в которых в числе других затрагивались и вопросы методологии истории [11], стали проводиться совместные встречи историков [12]. Тогда многие довольно проникательные отечественные историки не могли представить, что в отношении обеспечения продуктивными методологическими идеями Запад был почти бессилен и мог поделиться со своими старыми идеологическими противниками и новыми научными коллегами только прежними интеллектуальными наработками и современными нерешенными вопросами. В более выгодном положении в этом отношении, по какой-то иронии судьбы, оказались специалисты по зарубежной историографии, которые, обвиняя ее в ненаучности, отмечали ее неоднородность и разноликость [13].

В поисках отечественных обществоведов более или менее четко обозначились по сути дела те же самые направления, что и у их западных коллег. Прежде всего, очевидно, следует указать на то, что часть ученых полагает сомнительным использование самого термина «всемирная история», хотя многие историки считают его закономерным [14]. В перестроечные годы одной из главных обоюдных тем была русская революция 1917 года и ее последствия [15]. Отдельные авторы в своих методологических поисках ушли в сторону, не мыслимую ранее. И если И.Д. Ковальченко решился только на то, чтобы выступить против абсолютизации какой-либо одной теории и «ее претензий на монополию в понимании истории» [16], то другие пошли еще далее. Так, Б.Г. Могильницкий допускал, что «усвоение известной доли релятивизма, как, впрочем, и некоторых других «измов», в том числе иррационализма, вызывавших в марксистской науке однозначно негативное к себе отношение, может способствовать более адекватному осмыслению природы исторического познания, соответствующему современному уровню знаний о человеке, а следовательно, и повышению теоретико-методологического уровня исторической науки» [17].

Отечественные обществоведы стали гораздо охотнее обращаться к трудам своих коллег в странах «социалистического лагеря» [18], наконец, стали прислушиваться к мнению не только

«остепененных» ученых, но и талантливых дилетантов вроде Г. Померанца, который полагал, что общественные науки имеют дело с бесконечно глубоким – с человеческой душой, поэтому *точно* и *однозначно* доказать они ничего не могут. Ссылаясь на М. Хайдеггера, он утверждал, что все гуманитарные науки для того, чтобы быть *строгими*, должны непременно оставаться *неточными*. «От историка, – делал вывод Померанц, – требуется не точность (невозможная в его ремесле), а беспристрастие, свобода от ненависти. Идеал историка – Пимен в «Борисе Годунове» – «Добру и злу внимая равнодушно». Этого трудно достичь, но историк не может приблизиться к истине, не сознавая своих пристрастий и не присматриваясь к противоположной точке зрения, явно неприятной, не будучи готов принять крайне неприятный вывод. Ума тут надо не так уж много, скорее смирение. Если его нет, образование не поможет» [19].

Конечно, с последним утверждением можно спорить. В последнее время часто можно слышать слова о *принятии* чужой точки зрения. И что же это должно означать? Значит ли это, что человек должен отказаться от своих взглядов и *принять* чужие взгляды как свои собственные? А если он не считает их единственно верными, если для него они – только один из вариантов, наряду с исповедуемыми им взглядами? Очевидно, что *принимать* взгляды оппонента – значит считать их *возможными*, как и другие, но не более.

Из этого следует, что в поисках современных методологических основ истории необходимо исследование возможно большего числа интеллектуальных альтернатив. Здесь одинаково важно и движение вперед вместе с зарубежными коллегами, и возврат к собственному не изученному должным образом прошлому.

### Примечания

1. Лэмиш Д. Если не рассматривать историю США в розовом свете // Новая и новейшая история. 1992. №1. С.74.
2. Трельч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. М., 1994. С. 10,11,12.
3. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.С. 370 .
4. Там же. С. 371.
5. Ясперс К. Указ. соч. С. 372.
6. Там же. С. 248.
7. Цит. по: Harding T. The Degradation of Science. N.Y., 1931, P. 151.
8. Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. Вып.2.М., 1989.С.164-165.
9. См.: Диков И. И. О периодизации советского общества // Вопросы истории КПСС. 1991. №9.
10. См., например: Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888-1938. М., 1988; Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. М., 1989; Такер Р. Сталин: Путь к власти. 1879-1929. История и личность. М., 1989; Карр Э. История Советской России. Большевицкая революция 1917-1923. Т.1-2. М., 1990; Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993 и др.
11. См.: Конквест Р. (США). Обвинение в антикоммунизме лишено основания // Вопросы истории. 1989. №3; Рейман М. (Западный Берлин). Перестройка и изучение советской истории // Вопросы истории. 1989. №4; Дьюкс П. (Великобритания). История в современном мире // Вопросы истории. 1989. № 9; Кип Дж. (Швейцария); Люббе Г. (Германия). Историческая идентичность // Вопросы философии. 1994. №4 и др.
12. См., например: «Круглый стол» советских и американских историков // Вопросы истории. 1989. №4.
13. См., например: Могильницкий Б. Г. Тенденции развития современной буржуазной исторической мысли // Вопросы истории. 1987. №2. Как непросто было менять устоявшиеся убеждения, показывает пример того же Б.Г. Могильницкого: на VII Западносибирской региональной конференции по методологии истории, историографии и источниковедению (сент. 1988 г.) он говорил о необходимости преодоления разрыва между марксистской и немарксистской (уже не *буржуазной* ) историографией, но «диалог с немарксистскими учеными...не снимает вопроса о *партийности исторической науки*. И хотя оценки работ немарксистских авторов нуждаются сегодня в значительной корректировке, полная деидеологизация исторического сознания не только недопустима, но и попросту невозможна» (Вопросы истории. 1988. №12).
14. См. Дьюкс П. Указ. соч. С. 177-178; Кип Дж. Указ. соч. С. 189-190; Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. Вып. 1, 2. М.,1989; Смоленский Н. И. Возможна ли всеобщая историческая теория? // Новая и новейшая история. 1996. № 1 и др. К решению вопроса подключились философы. См., например: Межуев В. М. Философия истории и историческая наука // Вопросы философии. 1994. №4. Автор признавал возможность и необходимость общей теории исторического процесса, но лишь в качестве философии истории, разграничивая функции ее и истории.
15. См. Минц И. И. О перестройке в изучении Великого Октября // Вопросы истории. 1987. № 4; Круглый стол: Изучение истории Великого Октября: Итоги и перспективы // Вопросы истории. 1987. № 6; Козлов А. И. «Вандейские силы» в русской революции // Вопросы истории. 1987. № 9; Рабинович А. Большевики и массы в Октябрьской революции // Вопросы истории. 1988. № 5; Воронков И.И. Взгляд

английского автора на причины российских революций // Вопросы истории. 1989. № 1; Историографическая конференция по проблемам Великого Октября и гражданской войны // Вопросы истории. 1989. № 7 и др.

16. См.: Ковальченко И. Д. Теоретико-методологические проблемы исторических исследований. Заметки и размышления // Новая и новейшая история. 1995. №1. С.3. См. также: Он же. Некоторые вопросы методологии истории // Новая и новейшая история. 1991. №5.
17. Могильницкий Б. Г. Историческая наука и проблемы гносеологии // Россия в XX веке. Историки мира спорят. М., 1994. С.717.
18. См., например: Топольски Е. Методология истории и исторический материализм // Вопросы истории. 1990. № 5.
19. Померанц Г. Живые и мертвые идеи // Погружение в трясину (Анатомия застоя). М., 1991. С. 328.